

**"Коллекционеры — счастливейшие из людей".
Гете.**

**"Вещи кочуют сиротами
среди людей и сами находят,
у кого поселиться..."**

**Каждая из них —
отзвук мира..."
Александр Дорошенко
"Жизнь и мнения".**

В мире коллекционеров он был странен. Обычно коллекционер специализируется в одной чем-то его увлекшей области. Когда-то он увлекся прочитанным, увиденной коллекцией или же просто внезапной находкой, в его руках оказалась настоящая, высокого уровня вещь. Так начинается коллекционер. Он живет мечтой найти, сделать только свою находку, которая всех удивит. Александр Владимирович собирал все. В его нескольких маленьких комнатах на улице Гарибальди соседствовала немецкой работы 18-го и 19-го веков мебель с русской резной красного дерева мебелью, неоклассицизм с бидермейером, ампи́р с барокко, стоял письменный стол, как и все в комнате, покрытый множеством мелких вещей, и за таким столом писать, конечно же, было невозможно. В шкафах лежали 18-го века веера разных европейских стран, открывавшиеся диковинными птицами, их взмах сохранял дыхание ушедшего времени, матовость обольстительных женских плеч и, конечно же, вполне понятные тексты на неведомых теперь языках. Внезапно тайной и изысканностью поражающий подлинный Дельфт, стоящий на каком-то шкафу, запыленные тарелки и блюда, могущие украсить любой мировой музей, но ниже, в самом этом шкафу, рядом с коллекцией нумизматики, вы с изумлением обнаруживали подборку орденов и медалей вермахта. Икон и пластики было немного, и ценного здесь ничего не было. Но был хорошо и разнохарактерно представлен Восток: мебелью, бронзой, серебром. Шкафы хранили чудные подборки старых журналов "Нива" и "Старые годы". Часть такой подшивки была подарена мною. Было немало живописи — Александр Владимирович чаще покупал южнорусскую школу: Костанди, Нилуса, Дворникова. Но и кроме — все интересное, что попадалось, а попадалось тогда много, иногда — уникальные вещи.

Он мало или почти совсем не взаимодействовал с известными коллекционерами. По крайней мере — из числа ретивой и часто нечистоплотной молодежи. Знал, конечно, и общался со старыми мастодонтами антикварного дела, но вряд ли дружил и с ними. В мире коллекционеров он существовал как-то особо и сам по себе. Не знаю, где он брал деньги на приобретение новых вещей, он был уже на пенсии, и пенсия эта была невелика. В антикварном мире в те времена составлять коллекцию можно было лишь на активном обороте вещей, на их перепродаже, вот разница цен и позволяла собирать и накапливать свое, любимое. Эти люди получали деньги на знании вещей, конъюнктуры и обстоятельство. Александр Владимирович этим не занимался, и не знаю, как он находил деньги. Но приобретал вещи постоянно, до своих последних дней.

Разнохарактерность коллекции сказывалась и на составе гостей в его доме: они, как и вещи, были тоже очень разномастными. Какие то околлитературные дамы, большей частью со слабыми признаками пола и ума, с восторженностью, нереализованной в иных областях жизни. Приходили богемного вида и такой же жизни очень компанейские люди. Диапазон был от богемы до власти. Власть нужна была АВ, он тогда задумал создать музей частных коллекций, в основу его положив свое собрание. Нужно было выбить дополнительные помещения, но главное — вообще

"пробить" такой музей, аналогов не имевший.

Улица Гарибальди — тихая и темная. Она стоит над Карантинной балкой, тянется к морю, к порту. Этот участок Города стар, планировка его спутана и необычно для нас криволинейна. Как много раз я шел по этой улице к знакомому дому. Шел вечерами, и теперь мне кажется, что там, когда я сейчас это пишу, опускаются вечерние сумерки. Вот сейчас я, пройдя мимо его светящихся и выходящих на улицу окон, прямо с тротуара поднимусь несколькими коваными железными ступеньками, пройду темный короткий коридор парадного входа и, повернув налево, нажму кнопку звонка. И услышу его шаги, повернется замок, и меня встретит, как множество раз встречал, его тихий обрадованный голос: "О, Саша, проходите". Иногда он ласково положит мне на плечо руку (в последние годы всегда мелко дрожала его рука) и так введет в комнаты. Мы минуем какой-то темный проход и сразу за первой дверью попадем в перегруженную вещами и людьми комнату. Так бывает в лавке ста-

тельно адресовался ко мне за справкой, он, знавший неизмеримо больше. Тому, как он представлял вас новому человеку, как уважительно о вас говорил, следовало соответствовать. И он иначе, чем обычный, пусть и очень знающий коллекционер, видел мир вещей. Я такого никогда больше не встречал. Он удерживал вещь в своих представлениях и рассказах о ней в ее реальном бытовании: во времени, в среде и людях. Он знал не только ручные ковры Востока, время, историю сюжета и орнамента, технику, он понимал, как это все возникало во времени, и мог рассказать, как это все было там, на Востоке. Он умел видеть. Я знаю это, я обошел узбекские и таджикские, но главное — туркменские — горные кишлаки, видел эти вещи, ковры и свадебное серебро с сердоликом, но я видел вещи и искал их, он же видел людей и — продолжением их жизни — эти вещи. Это так редко в людях. Его знания были не книжной мудростью и фактом, но универсумом человечества оборачивался любой его рассказ, и даже не об эксклюзивной вещи, а, например, о

громадны и поражают причудливостью форм. Так вот, если послушать такую раковину, то услышишь не шум моря, она, раковина вовсе не генерирует звук, это звук втягиваемого ею, жадно поглощаемого пространства земли, звучания нашей живой жизни. Но если послушать ее, находясь вдаль от моря, в северных пустыях и бессмысленных пространствах, она вернет звук и перескажет тебе все когда-то бывшее с нами на этих счастливых берегах. Так когда-то играл, отогрелвшись в домашнем тепле, рожок барона Мюнхгаузена мелодии, замерзавшие в нем на морозе. Человек — как эта раковина, он собирает существенное из мусора бытия, он строит это в себе и себя в этом. Он, если умеет, поделится этим с друзьями, но главное в этом собирательстве иное, это необходимо, нужно кому-то или чему-то, посланному нас во временный мир людей. Ничто из родившегося и созданного в мире не пропадает, но большая часть видимого мира не рождена и не создана, это просто мусор, ослиный помет).

Играют короля его подданные.

КОЛЛЕКЦИОНЕР

рьевщика, когда все стены и углы, до самого карниза высокие потолки, уставлены вплотную и увешаны рядами вещей.

Многих посетителей АВ я знал и сразу определялся, участвовать в общей беседе или, сев в укромном уголке в старое кресло, повернуть в руках что-нибудь из новых приобретений или даже из старого, но всегда по-новому интересного: фарфоровую статуэтку с "коцаным" мейсенским клеймом, венецианское стекло, литой серебряный подсвечник. И послушать рассказы АВ, ахание дам и иногда действительно что-нибудь интересное, нового гостя, художника, или альпиниста, или старателя — его рассказы с обязательными добавлениями АВ.

Наступал вечер, и неизменно Александр Владимирович во второй, еще меньшей размер, комнате начинал накрывать с помощью молодых ребят стол (эти молодые ребята постоянно у него жили, меняясь; они были альпинистами, просто знакомыми знакомых, которым надо было заниматься в Городе и не было где жить; они несли и определенную охрану дома, полного ценностей). Чай мы будем пить, конечно же, из тонкого стекла стаканов, и каждый этот стакан будет в старом, хорошей русской работы, серебряном подстаканнике (это есть основа морали: во-первых, хороший чай, во-вторых, подстаканник непременно серебряный и, конечно же, старой русской работы, а к каждому стакану — своя старинной работы чайная ложечка, и сахарница тоже из старого русского серебра, Овчинникова или Хлебникова работы). А к чаю на столе все будет просто — печенье и масло в старой серебряной масленке, и сахар в такой же сахарнице, и к нему щипцы-кусачки, варенье. Чай АВ иногда составлял сам из разных сортов с добавками по своей технологии. Иногда на столе была бутылка вина. И это потому у меня теперь на столе старое русское коллекционное серебро в ежедневном обиходе, что так делал он.

Он очень многое знал, потому что любил и жил этим ушедшим и уходящим миром вещей. И всегда с удовольствием рассказывал, где и что увидел, как была найдена та или иная вещь. Он, собрав очень многое и в этом множестве немало все же очень ценного, снобом не стал. Он сохранял детскую непосредственную заинтересованность и способность именно по-детски радоваться и удивляться. Зная, что я собираю иконы и пластику, он так уважи-

какой-то 18-го века гуцульской керамической свистульке. А прямо перед этой беседой мы говорили об античной нумизматике, о "кизкингах" или о ранней Византии. Он не проводил границ, понимая все, сделанное человеком с любовью, как историю его духа. Наверно, поэтому такой разношерстной была эта удивительная коллекция. Ведь собрал же его друг Белый коллекцию русского фарфора, но собирал он только фарфор, и этой сравнительно узкой темы любому хватит на всю жизнь: собирать, изучать, делать открытия и радоваться.

Было бы с кем порадоваться вместе и с кем поделиться радостью находки!

(Это сегодня для меня уже есть проблема. Я недавно на Старо-конном рынке купил фарфоровую вазу работы фабрики Гарднера. Она выполнена в восточном стиле, в форме пиалы большого размера, и расписана вручную цветными с зубчатым многоцветным орнаментом по верхнему внешнему краю. Пусть, и я это знаю, вообще никто из моих интеллигентных знакомых эту фабричную марку не знает, пусть они в равной мере не знают и все известные русские фирмы, работавшие фарфор, и фаянс, и майолику (знают только Кузнецова, этот сифилис русской керамики и ее тупик, и знают потому, что горами своей продукции, край развитию русской керамики пожившей, Кузнецов завалил в начале века всю Россию и это имя осталось в памяти бабушек и мам, поскольку в каждом доме что-то от Кузнецова сохранилось), пусть и стоимости ее и материальной ценности они тоже не представляют, хотя зачастую это единственный доступный им критерий оценки, но если абстрагироваться от этого, остается то, что количественных знаний не требует и обучению не подлежит: Красота! Скажи мне они, пусть хоть кто-нибудь, о показанной им иконе или вазе: "Как красиво!" И это примирит меня с их вопиющей безграмотностью.

Кого позвать, и с кем мне поделиться... тихой радостью... новой моей находки?!

У нас на побережьях Черного моря говорят, что если приложить ухо к раковине, можно услышать шум моря. Шум моря у нас слышен и без раковин. Хотя их в Городе множество, больших и красивых, они — домики-крепости, оставшиеся от моллюсков теплых и южных Карибского бассейна морей. Они разноцветны,

Но и королю приходится играть, чтобы у его подданных был настоящий король. Как мы все, очень разные, нуждались в этом доме на улице Гарибальди! Многие из там бывавших постоянно или наездами (Москва, Питер, Новосибирск... вся страна) мало знали антиквариат. Они приходили к Александру Владимировичу. На этой вечерами такой всегда темной улице светились окна его квартиры, освещая улицу, Город, страну. Мягкая его доброта, прикосновением к которой сглаживались угловатости характера прикоснувшегося, речь и поведение, о которых мы, догадываясь и читая, что такое есть или было, никогда не встречали в жизни, голос, тихий и успокаивающий, как лекарство, — ко всему этому так хотелось прикоснуться. Конечно, разные люди приходили в этот дом, но каждый получал там ему необходимое. В Городе стало темнее, когда погас в этих окнах свет.

Такой человек, как он, не выдерживает обычных определений: ученый, альпинист, коллекционер. Александр Владимирович — это отзвук мира!

С массой самых удивительно разных людей я оказался связан знакомством через АВ. Умные и образованные, простые и невежественные, частные лица и представители высоких властей, все они были связаны его именем. Каждому что-то было в нем необходимо, и каждый это находил для себя. Кто я, одинокий, неуживчивый и высокомерный, чтобы судить об этом! Мне, чтобы так суметь быть с людьми, надо бы вырасти и измениться, стать выше и лучше. Вряд ли, уже нет времени, или среды такой, или так сложившейся жизни. Я, кстати, вовсе не знаю его личной жизни. Он никогда не говорил, я никогда не расспрашивал ни его, что было немисливо для меня, ни иных, конечно, много здесь знающих, что было бы бессмысленно в этих целях. Я как-то не нуждался в этих конкретностях, никогда ничего не прибавляющих к главному, если вы знаете главное.

Он любил горы и много лет ходил там. Горы помогают стать человеком. Внезапной случайностью и откровением они входят в твою жизнь, ведь рассказать о них невозможно. Вырванный из человеческого муравейника наших городов, их обихода и шума, ты оказываешься наедине с Богом. Наши сверкающие многоцветные города безлики или становятся безликими на глазах. Горы всегда особенные и говорят

только с тобой лично. Там иное небо и воздух, но, главное, там ты ближе к Богу. Так выглядел мир, когда мы, люди, были молоды. Таким был Моисей на Синае. Горы изменяют тебя. А если нет, изменить тебя невозможно.

В доме у АВ часто бывали альпинисты. Вдруг оказывался где-то в углу лежащим рюкзак. АВ становился при этих гостях с вершины мира особым, он начинал светиться иным светом. (Он сохранял и в старости навыки альпиниста, это не забывается, как любое дарованное однажды тебе умение — плавание или езда на велосипеде. Однажды был утерян ключ от какого-то кабинета в нашем институте. А со двора — это был бельэтаж — оставалось открытым окно. Несколько молодых мужчин примерялись влезть в это окно, и я тоже, но не сумели. Сумел АВ, случайно проходивший мимо, а был он тогда уже пожилым человеком). Мир альпинистов — особое и всемирное братство, как, вероятно, и яхтенное дело. С землей мы уже разобрались, море, горы да еще великие пустыни остались на Земле местом, где стоит жить, где можно прикоснуться к себе, если там было к чему прикоснуться...

Он был тихим и домашним человеком. Тапочки, мощная линза в руке, справочник на мавританском резном столике, собеседник. Но в нем жил альпинист, а это означало энергию и твердость, проявляемые немедленно. Однажды я пришел к нему со своей бедой. Мне, как везух, надо было выпасть из привычной жизни, где исчез воздух, я тогда задыхался. Я бежал и не мог остановиться, такая болезнь, я где-то прочел, называется амок. Я хотел уехать на год в горы, уйти от людей, отдышаться. Раньше так на время уходили жить в монастырь. Там были большие, заросшие травой дворы у келий, обиходный тяжелый труд, молчание и тишина. Стены монастыря огораживали тебя и прятали на время болезни. АВ послушал, о деталях случившегося вовсе спрашивать не стал. И через день он все для меня решил. Меня ждали на горной какой-то станции, то ли обсерватории, то ли какой-то метеорологической, то ли на Памире, то ли в Крыму, не упомню. Была для меня там должность, младшего сотрудника науки. Меня, понятия не имевшего профессионально, никому дотеле неизвестного там, в горах, вовсе, уже ждали. Он так мог, его люди были везде, и его голос был для них определяющим. Такой это был тихий коллекционер и собиратель. Такой был у него тихий голос. А я в этот день остановился на бегу и отдышался. И понял, что бежать от себя не получалось еще никому. Он не сказал ни слова, вновь не расспрашивал ни о чем, и все дело мы забыли.

Александр Владимирович чаще всего бывал тих и задумчив. Перебирал четки. (Тогда эта простая вещь в руках АВ удивляла необычностью; сегодня это привычно — много людей с Востока появилось в Городе.) С ним хорошо было побыть в тишине, если случалось, что не сваливались на голову и душу восторженные дамы. Я из множества только немногие помню вечера, когда удавалось вот так тихо с ним посидеть и поговорить. Потом он, провозжая меня, выходил на площадку уличной лестницы, и мы еще некоторое время стояли здесь в тишине одесского вечера. Я курил, он что-то говорил мне, облокотясь на лестничную решетку.

Иногда я проезжаю мимо этого дома и всегда успеваю в вечерних сумерках рассмотреть лестничку, площадку, дверь.

Теперь в его доме музей, о котором он так мечтал. Я в нем не был.

Александр В. ДОРОШЕНКО.